



Филипп Клодель

Серые души

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8885975
Клодель, Филипп. Серые души: Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-78053-2*

Аннотация

«Серые души» – не просто триллер. Это глубочайшей силы психологический роман, который, по очень точному замечанию Entertainment Weekly, скорее напоминает Камю, нежели Сименона.

Итак, Франция. Маленький провинциальный городок. В разгаре Первая мировая война. Человеческая жизнь почти ничего не стоит, и, кажется, хуже быть уже не может. Но, как выясняется, нет предела горю, как и нет предела злодейству.

Убитой найдена маленькая девочка – Денная Красавица.

Кто посмел совершить это страшное убийство? Главный герой романа начинает расследование и понимает: убийцей мог стать каждый, потому что людей со светлыми душами в городке не осталось.

Содержание

I	5
II	8
III	12
IV	16
V	19
VI	23
VII	25
VIII	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Филипп Клодель

Серые души

Я здесь. Быть здесь — моя судьба.
Жан-Клод Пирот. «Путешествие в осень»

*Быть секретарем суда времени,
Каким-нибудь заседателем, что бродит вокруг,
Когда не поймешь, где человек, где свет.*
Жан-Клод Тардиф. «Маленький человек»

Philippe Claudel
LES BMES GRISES

© Editions Stock, 2003

© Ефимов Л., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2015

Фото автора © Gero Breloer / DPA / AFP / FOTOLINK

В оформлении обложки использована репродукция картины Клода
Моне «Впечатление. Восходящее солнце», 1872

I

Памяти Андре Вера

Я не очень-то знаю, с чего начать. Это довольно трудно. Слова ничего не вернут – ни ушедшего времени, ни лиц, ни улыбок, ни ран. Но все-таки надо попытаться. Рассказать о том, что вот уже двадцать лет тяготит мне сердце. Об угрызениях совести и больших вопросах. Мне надо вспороть тайну ножом, как живот, и черпать оттуда горстями, даже если это совершенно ничего не изменит.

Если меня спросят, каким чудом я обо всем этом знаю, я отвечу: знаю, и все тут. Знаю, потому что мне это знакомо, как наступающий вечер, как занимающийся день. Потому что я всю жизнь собирал факты, подгонял их друг к другу и выслушивал, что они скажут, когда заговорят. Когда-то это даже было моим ремеслом.

Я выведу чередой много теней. Но одна из них займет место на переднем плане. Это тень человека, которого звали Пьер Анж Дестина. Он больше тридцати лет был прокурором в В... делал свое дело, как заведенные часы, которые никогда не отстают, не спешат и не ломаются. Настоящее произведение искусства, если угодно, и, чтобы показать себя в наилучшем свете, они не нуждались ни в каком музее. В 1917 году, когда случилось это *Дело* (как его у нас все называли, подчеркивая заглавную букву вздохами и ужимками), Дестина было уже больше шестидесяти, и за год до того он вышел в отставку. Это был высокий, сухопарый, похожий на птицу мужчина, холодный, величественный и отстраненный. Он мало говорил, но производил большое впечатление. У него были светлые глаза, казавшиеся неподвижными, тонкие губы безо всяких усов, высокий лоб и седоватые волосы.

Город В... от нас всего километрах в двадцати. Но двадцать километров в 1917 году были чуть не краем света, особенно зимой, да еще с этой войной, которая все никак не кончалась, загромаждая дороги грузовиками и ручными тележками, донося вонючий дым и множество раскатов грома, поскольку фронт проходил совсем рядом, даже если в наших краях он и воспринимался как невидимое чудовище, скрытая страна.

Дестина называли по-разному, это зависело от места и людей. В тюрьме В... например, большинство заключенных прозвали его *Кровотийцей*. В одной из камер я даже видел его портрет, нацарапанный ножом на толстой дубовой двери. Вышло, впрочем, довольно похоже. Надо сказать, что художник вполне успел налюбоваться оригиналом за те две недели, что его судили. Мы же, встречаясь с Пьером Анжем Дестиной на улице, величали его «господин Прокурор». Люди приподнимали свои картузы, а простые женщины приседали. Остальные, важные господа, к кругу которых он принадлежал, слегка наклоняли голову, словно птички, когда пьют из водостоков. Все это ничуть не трогало господина Прокурора. Он либо совсем не отвечал, либо отвечал так незаметно, что понадобилось бы четыре хорошенько отполированных монокля, чтобы заметить, как шевельнулись его губы. Но это было не от презрения, как полагало большинство, а просто, думаю, из безразличия.

Как бы там ни было, нашлась одна юная особа – об этой девушке я еще расскажу, – которая почти поняла его и называла *Печальным*. Но только она одна. Быть может, из-за нее-то все и случилось, но сама она об этом так никогда и не узнала.

Прокурор в начале века еще считался важной фигурой. А во время войны, когда одна пулеметная очередь способна скосить целую роту готовых на все молодцов, требовать смерти одного-единственного человека, да к тому же закованного в кандалы, отдавало кустарничеством. Не думаю, что им двигала жестокость, когда он получал голову бедняги, прикончившего почтового служащего или зарезавшего тещу. Дестина видел перед собой лишь кретина в наручниках между двумя жандармами и едва замечал его. Он смотрел – как

бы это сказать – сквозь него, словно того уже не существовало. Когда перед ним оказывался преступник во плоти, он не ярился против него, не бушевал, но отстаивал некую идею, просто идею, от которой ему было ни холодно ни жарко.

По оглашении приговора осужденный вопил, плакал, неистовствовал, порой воздевал руки к небесам, словно вдруг вспомнив уроки Закона Божьего. Дестина его уже не видел. Убирал в портфель свои заметки, четыре-пять листков, на которых мелким изысканным почерком фиолетовыми чернилами была набросана его обвинительная речь – горстка отобранных слов, чаще всего заставлявших содрогнуться публику и призадуматься присяжных, когда те не спали. Всего несколько слов, но их было довольно, чтобы возвести эшафот быстрее и надежнее, чем это сделали бы два плотника за неделю. Раз – и готово.

Он не питал зла к приговоренному, он его тут же забывал. И вот вам доказательство: я собственными глазами видел, как по окончании процесса Дестина, шествуя по коридору с видом Катона, облаченный в свою прекрасную, подбитую горностаем мантию, столкнулся с тем, кого только что повенчал с Вдовой¹. Тот жалобно его окликнул. Глаза несчастного были еще красны после объявления приговора, и он, конечно, наверняка уже сожалел о зарядах, которые всадил из ружья в живот своему хозяину. «Господин Прокурор, – стонал он, – господин Прокурор...» И Дестина, глядя осужденному прямо в глаза, словно не замечая ни жандармов, ни наручников, ответил, положив ему руку на плечо: «Да, друг мой, мы ведь, кажется, уже встречались, не так ли? Чем могу служить?» И это без всякой насмешки, все совершенно искренне. После чего бедняга уже не оправился. Это было все равно что второй приговор.

После каждого процесса Дестина шел отобедать в трактир «Ребийон», что напротив собора. Владеет им толстяк, у которого во рту полно плохих зубов, а голова похожа на кочешок желто-белого бельгийского эндивия. Зовут трактирщика Бурраш. Он не шибко умен, но хватка в денежных делах у него есть. Такова уж его натура. Тут его не за что осуждать. На нем всегда большой синий фартук, в котором он выглядит как перетянутая обручами бочка. Раньше у Бурраша была жена, никогда не встававшая с постели из-за болезни, *немочи*, как у нас говорят, а у нас и ноябрьские туманы довольно часто путают с недомоганием. С тех пор она умерла, не столько от своего недуга, к которому, наверное, в конце концов притерпелась, сколько из-за случившегося, из-за *Дела*.

В то время дочки Бурраша были как три маленькие лилии, но капелька чистой крови до того усиливала яркость их щечек, что они прямо обжигали. Самой младшей и десяти лет еще не сравнялось. Не повезло ей. Или, наоборот, быть может, слишком повезло. Кто знает?

Если двух других звали только по именам, Алина и Роза, то младшую все дружно окрестили *Красавицей*, а некоторые, желавшие показать себя поэтами, – даже *Денной Красавицей*². Когда все три были в зале, разносили графины, литровые бутылки вина и приборы среди десятков мужчин, громко говоривших и слишком много пивших, мне при взгляде на этих девочек всегда казалось, что кто-то обронил цветы в злчном месте. А младшая выглядела особенно свежей – настолько, что я всегда представлял ее вдали от нашего мира.

Когда Дестина входил в ресторан, Бурраш, человек привычки, всегда встречал его одной и той же фразой, не меняя в ней даже запятых: «Еще одного окоротили, господин Прокурор!» Прокурор не отвечал. Потом Бурраш его усаживал. У Дестина имелся свой столик, закрепленный за ним на год, один из лучших. Я не говорю «лучший», потому что имелся и такой – рядом с огромной изразцовой печкой, откуда за пятнистыми занавесками видна была вся Судейская площадь, – и он предназначался для судьи Мьерка. Это был завсегдатай. Приходил четыре раза в неделю. Об этом красноречиво говорило его брюхо, выпиравшее

¹ В просторечии – гильотина. – *Здесь и далее примеч. переводчика.*

² Другое название этого цветка – выюнок трехцветный.

над ляжками, а также физиономия, так разукрашенная красными пятнами и прожилками, словно там выстроились на смотре все выпитые им бургундские вина в ожидании перевода на другие квартиры. Мьерк недолюбливал прокурора. Тот платил ему той же монетой. Я даже думаю, что это еще мало сказано, но люди видели, как они важно раскланивались друг с другом, приподнимая шляпу, как два человека, противоположные во всем, но тем не менее вынужденные встречаться за общей трапезой.

Любопытнее всего было то, что Дестина, хотя редко бывал в «Ребийоне», все же имел там свой столик, пустовавший таким образом большую часть года, что для Бурраша оборачивалось прямым убытком. Но он ни за что на свете не отдал бы его кому-то другому, даже в дни большой ярмарки, когда в трактир наведывались, чтобы подзаправиться, все окрестные крестьяне, после того как весь день щупали крупы коров и успели выдуть с утра литр сливовой водки, перед тем как отправиться для облегчения в бордель мамыши Нен. Столик оставался пустым, а Бурраш все отказывал народу. Однажды даже выставил вон торговца скотиной, который имел дерзость его потребовать. Больше ноги этого невежи там не было.

«Лучше королевский стол без короля, чем клиент с ножищами в навозе!» Вот что мне однажды сказал Бурраш, когда я надоел ему своими расспросами.

II

1917 год. У нас. Первый понедельник декабря. Сибирский мороз. Земля так трещала под ногами, что звук отдавался аж до самого затылка. Помню большое одеяло, наброшенное на тело малышки и быстро намокшее, да двух стороживших ее на берегу жандармов, Берфюша, коротышку с волосатыми кабаньими ушами, и эльзасца Грошпиля, чья семья покинула родину сорок лет назад. Немного поодаль стоял сын Брешию, пузатый малый с жесткими, как щетина на швабре, волосами, теребивший свой жилет, не очень-то зная, что ему делать – остаться или уйти. Это он обнаружил тело в воде по дороге на работу, где вел счетные книги для охотничьего хозяйства. Он по-прежнему этим занимается, только теперь ему на двадцать лет больше, и череп у него гладкий, будто паковый лед.

Тело десятилетнего ребенка, да еще намокшее в зимней воде, совсем невелико. Берфюш потянул за уголок одеяла, потом подышал себе на руки, чтобы согреться. Появилось лицо *Денной Красавицы*. Пролетело несколько воронов. Беззвучно.

Она была похожа на сказочную принцессу с посиневшими губами и белыми веками. В волосах у нее запуталась трава, порывшаяся из-за утренних заморозков. Ее маленькие руки сжимали пустоту. В тот день было так холодно, что усы у всех заиндевели. Все выдыхали пар, как пыхтящие быки. Топали подошвами, чтобы восстановить кровообращение в ногах. В небе, будто заблудившись, кружили глупые гуси. Солнце совсем съежилось в пелене тумана и истончалось все больше и больше. Даже пушки, казалось, замерзли. Ничего не было слышно.

– Может, мир, наконец, – рискнул предположить Грошпиль.

– Мир, как же... дождайся! – буркнул в ответ его сослуживец и снова набросил промокшую шерсть на тело малышки.

Ждали господ из В... Наконец они прибыли в сопровождении нашего мэра, который был мрачнее тучи, поскольку его вытащили из постели ни свет ни заря, да вдобавок в такую холодину, когда и собаку на улицу не выгонишь. Был там судья Мьерк, секретарь суда, чьего имени никто не знал, но которого все называли *Шелудивым* из-за мерзкой экземы, сожравшей ему всю левую половину лица, три жандарма в унтерских чинах, которые этим не больно-то чванились, и еще один военный. Не знаю, что он там делал, но в любом случае его недолго видели: вскоре он хлопнулся в обморок, и пришлось отнести его в кафе Жака. Этот хлыщ, наверное, никогда и штыка-то в руках не держал, разве что в оружейном магазине, да и то вряд ли – видно было по его мундиру, безупречно сшитому и выглаженному, словно для манекенщика Пуаре. Войну он, должно быть, провел у хорошей чугунной печки, сидя в большом бархатном кресле, а потом, с наступлением вечера, с бокалом шампанского в руке, под пикиканье камерного оркестра в париках рассказывал о ней под золоченой лепниной и хрустальными подвесками юным девицам в бальных платьях.

Судья Мьерк, несмотря на свою шляпу «кронштадт» и внешность обжоры, был сухарем. Может, винные соусы и окрасили ему уши и нос, но ничуть не смягчили. Он сам приподнял одеяло и стал смотреть на *Денную Красавицу*. Долго. Остальные ждали какого-нибудь его слова, вздоха, ведь он ее хорошо знал, в конце концов, видел почти каждый день, когда приходил обжираться в «Ребийон». Но он осматривал маленькое тельце так, словно это был камень или деревяшка: бессердечно, взглядом таким же ледяным, как протекавшая в двух шагах вода.

– Это Буррашева младшенькая, – шепнули ему на ухо с таким видом, будто хотели сказать: «Бедняжка, ей всего-то десять годков было, представляете, еще вчера она приносила

вам хлеб и оправляла вашу скатерть». Судья вдруг резко повернулся на каблуках к тому, кто осмелился с ним заговорить.

– И что с того? Какое мне, по-вашему, до этого дело? Смерть – это смерть!

Прежде судья Мьерк был для нас судьей Мьерком, и все тут. У него было свое место, и он его занимал. Его никто не любил, но все выказывали ему уважение. Однако после того, что он сказал в тот первый понедельник декабря, стоя перед промокшими останками малышки, и особенно учитывая то, как он это сказал – довольно высокомерно и немного насмешливо, с явным удовольствием в глазах, потому что наконец-то заполучил настоящее преступление (в чем не было никаких сомнений), и это в самый разгар войны, когда все убийцы забросили работу на гражданке, чтобы, прикрывшись мундиром, злодействовать еще пуще прежнего! В общем, после такого ответа вся округа сразу же повернулась к нему спиной и теперь думала о нем только с отвращением.

– Так, так, так... – продолжил судья нараспев, словно собираясь на охоту или поиграть в кегли. Потом у него разыгрался аппетит. Блажь, каприз: ему захотелось побаловать себя яйцами в мешочек, «в мешочек, а не всмятку!», уточнил он. Яйца прямо сейчас, тут же, на берегу маленького канала, при десяти градусах ниже нуля, рядом с телом *Денной Красавицы*! И это тоже всех неприятно поразило.

Один из троих жандармов, который вернулся, доставив в кафе кривляку с галунами, снова убежал по приказу судьи, чтобы раздобыть ему яйца, – «больше чем яйца, настоящие маленькие мирки, маленькие мирочки», – как приговаривал Мьерк, разбивая скорлупу крошечной колотушкой из чеканного серебра, которую всякий раз нарочно вытаскивал из своего жилетного кармана, потому что на него частенько накатывала эта блажь, пачкавшая ему усы золотым желтком.

В ожидании своих яиц он метр за метром осматривал окрестности, заложив руки за спину и насвистывая, пока остальные пытались согреться. Он по-прежнему говорил, и его уже не прерывали. Но в его устах не было никакой *Денной Красавицы*, хотя прежде он тоже так ее называл, я сам слышал. Теперь он именовал ее *жертвой*, словно смерть, отнимая жизнь, отнимает и прелестные цветочные имена. – Это вы выловили жертву из воды?

Сын Брешию по-прежнему теребит свой жилет, словно хочет в нем спрятаться. Кивает, а его спрашивают, не отнялся ли у него язык. Он отрицательно мотает головой, все так же молча. Чувствуется, что судью все это раздражает; он начинает терять хорошее настроение, в которое еще недавно его привело это убийство, а главное, потому что жандарм куда-то запропастился и яиц все еще нет. Тут сын Брешию, расщедрившись наконец, выдает кое-какие подробности, а судья Мьерк выслушивает его, время от времени бормоча: «Так, так, так...»

Проходят минуты. Все так же холодно. Гуси в конце концов улетают. Течет вода. Край одеяла намокает, течение колышет его, словно отбивающая такт рука, то ныряя, то выныривая. Но судья этого не видит. Он слушает рассказ Брешию, не упуская ни единой мелочи, забыв о своих яйцах. А у свидетеля еще ясно в голове, хотя позже он сделает из своего рассказа настоящий роман, заходя во все кафе подряд, чтобы поведать историю и позволить хозяевам себя угостить. И закончит около полуночи, пьяный вдрызг, выкрикивая имя малышки с лихорадочным волнением в голосе и мочась в штаны всеми выпитыми в округе стаканами. Под конец, надравшись как свинья, он уже делал перед своей многочисленной публикой одни только жесты. Прекрасные, серьезные и драматичные жесты, которые из-за вина выглядели еще красноречивее.

Толстые ляжки судьи Мьерка свешивались с его охотничьего сиденья, треноги из черного дерева и верблюжьей шкуры, которая произвела на нас сильное впечатление, когда он в первый раз ею воспользовался по возвращении из колоний... Мьерк провел там три года, гоняясь за курокрадами и расхитителями зерна где-то в Эфиопии или что-то вроде того. Он

беспреданно складывал и раскладывал свою табуретку на местах расследований, размышлял, сидя на ней, словно художник перед натурой, или забавлялся, поигрывая ею, будто тростью с набалдашником, как обычно делают при каком-нибудь затруднении.

Судья выслушал Брешю, поедая яйца, которые прибыли наконец в объемистом узле из белой тряпки, над которым поднимался парок. Доставивший их услужливый жандарм прибежал, держа руки по швам. Усы судьи были теперь желто-серыми. У ног валялась скорлупа. Он давил ее сапогами и вытирал губы большим батистовым платком. Слышно было, как она хрустит, словно ломаются стеклянные косточки каких-то птиц. Кусочки скорлупы прилипли к его каблукам, словно крошечные шпоры, а тем временем рядом, всего в нескольких шагах, по-прежнему лежала под своим шерстяным промокшим саваном *Денная Красавица*. Appetit это судье не испортило. Я даже уверен, что из-за одного этого яйца показались ему вкуснее, чем обычно.

Брешю закончил свой рассказ. Судья при этом жевал свои *маленькие мирочки* с видом знатока.

– Так, так, так... – сказал он, вставая и поправляя свой пластрон. Потом посмотрел на пейзаж, словно прошупывая его глазами. Все такой же одеревенелый, в ровно сидящей шляпе.

Утро изливало свой свет и свои часы. Все стояли, застыв, как свинцовые фигурки на миниатюрной сцене. У Берфюша покраснел нос и слезились глаза. Грошпиль цветом лица напоминал воду. *Шелудивый* держал в руке блокнот, в котором уже сделал несколько заметок, и часто почесывал свою больную щеку, которую холод покрыл белыми мрамористыми прожилками. Жандарм с яйцами казался восковым. Мэр ушел в свою мэрию, весьма обрадованный возможностью вернуться в тепло. У него были свои маленькие обязанности. Остальное его уже не касалось.

Судья глотал голубой воздух, наполнял им легкие, заложив руки за спину и подсакивая на месте. Ждали Виктора Дешаре, врача из В... Но судья уже не торопился. Он смаковал мгновение и место. Пытался запечатлеть его в самой глубине своей памяти, где собрал уже немало декораций преступлений и пейзажей убийств. Это был его личный музей, и я уверен, что, проходя по нему, он содрогался не меньше убийц. Граница между зверем и охотником довольно тонка.

Прибыл врач: они с судьей та еще команда! Оба знакомы со школьной скамьи. Оба на «ты», но, что любопытно, в их устах это кажется выканьем. Они частенько вместе едят в «Ребийоне» да и в других трактирах; трапеза длится часами; в ход идет все, особенно колбасы и потроха: свиные рыла, рубец со сливками, ножки в сухарях, требуха, мозги, жареные почки. Из-за давнего знакомства, а также потому, что заказывают одно и то же, они в конце концов даже стали похожи друг на друга: одинаковый цвет лица, тройной подбородок, брюхо, глазки, глядящие на мир вскользь, свысока, избегая уличной грязи и сочувствия.

Дешаре разглядывает тело, как пример из учебника. Заметно, что он боится намочить свои перчатки. Хотя он тоже хорошо знал малышку, под его пальцами она – всего лишь мертвый ребенок, просто труп. Он касается губ *Денной Красавицы*, приподнимает ей веки, открывает шею, и тут все замечают фиолетовые следы, которые охватывают ее словно ожерельем.

– Удушение! – объявляет он.

Чтобы это сообразить, университетов кончать не надо, но тут студеным утром, вблизи маленького тела это слово в общем-то ошарашивает.

– Так, так, так... – опять заводит свое судья.

Он ужасно доволен, что заполучил настоящее убийство, которое можно посмаковать, еще одно убийство, да к тому же ребенка, маленькой девочки. И вдруг, не переставая крутиться на каблуках, принимать позы и строить мины с приставшим к усам желтком, спрашивает:

– А эта дверь? Это что такое?

Тут все посмотрели на эту дверь, словно она внезапно явилась на манер Девы Марии. Маленькая приоткрытая дверь, за которой видна заиндевевшая истоптанная трава, дверца в широкой ограде, в высокой стене, и за этой оградой – парк, внушительный парк с внушительными деревьями, и за всеми этими деревьями, переплетающими свои голые ветви, – силуэт высокого дома, хозяйского жилища, большой причудливой постройкой.

Ответил ему Брешю, выламывая себе руки от холода:

– Так это же замковый парк. А вон и сам Замок...

– Замок... – повторил судья, словно издеваясь над ним.

– Ну да, замок Прокурора.

– Ишь ты... Вот, значит, он где... – сказал судья скорее самому себе, чем нам, всем остальным, на кого обращал не больше внимания, чем на помет землеройки.

Казалось, его позабавило упоминание о сопернике, да вдобавок сюда примешался запах насильственной смерти; хотя Прокурор был одним из сильных мира сего, подобно ему самому, судья его неизвестно почему ненавидел. Впрочем, может быть, просто потому что судья Мьерк мог только ненавидеть, такова уж была его глубинная природа.

– Так, так, так... – повторил он вдруг весело. Поудобнее пристроил свое жирное тело на экзотическом седалище, которое расположил прямо напротив маленькой дверцы, ведущей в замковый парк, и долго там мерз, как снегирь на бельевого веревке, пока жандармы топали ногами и дышали в свои перчатки, пока сын Брешю переставал чувствовать свой нос, а *Шелудивый* становился серо-фиолетовым.

III

Надо сказать, что Замок это вам не пустяк. Он даже самым невпечатлительным внушает почтение своими кирпичными стенами и аспидной крышей, которые делают его украшением богатого квартала – да, да, у нас есть и такой, а также больница, отнюдь не пустовавшая в годы мировой бойни, две школы, одна для девочек, другая для мальчиков, и огромный Завод с круглыми трубами, которые коптят небо, выбрасывая и летом, и зимой дым и сажу. Завод дает средства к существованию всей округе, с тех пор как был построен тут в конце восьмидесятых. Мало кто из мужчин на нем не работает. Почти все забросили ради него поля и виноградники. И с тех пор запустение и бурьян все быстрее взбираются по склону большого холма, пожирая фруктовые сады, виноградные лозы, полосы хорошей земли.

Наш городок совсем невелик. Это вам не В... ничего похожего. Однако и в нем можно затеряться. Я разумею под этим, что и здесь найдется достаточно тенистых уголков и террас, где каждый может тешить свою меланхолию. Именно Заводу мы обязаны больницей, школами и маленькой библиотекой, куда абы какие книги не попадают.

У его хозяина нет ни имени, ни лица, это целое *объединение*, а те, кому охота поумничать, добавляют: *консорциум*. На когда-то засеянной земле выросли ряды домов. Одинаково застроенные и совершенно одинаковые улочки. Тишина, послушание, общественное спокойствие – домики сдаются либо за гроши, либо втридорога, как рабочим, которые на такое и не надеялись, так и тем, кому в диковинку мочиться в унитаз, а не в черную дыру, прорезанную в еловой доске. Уцелевшие при этом немногие старинные фермы сгруппировались вокруг церкви и жмутся друг к другу, будто рефлекторно, все теснее сдвигая свои старые стены с низкими окошками и выпуская наружу через приоткрытые двери риг терпкие запахи стойла и скисшего молока.

Нам даже прорыли два канала, большой и маленький. Большой для барж, которые привозят уголь и известняк, а отвозят карбонат натрия. Маленький, чтобы подпитывать большой, когда тот порой мелеет. Работы велись десять лет. Повсюду разгуливали господа в галстуках, с карманами, полными денег, и всюду скупали участки. В те времена вообще можно было не трезветь, с такой легкостью они всем ставили выпивку. А потом однажды вдруг исчезли. Город принадлежал им. И все разом протрезвели. После чего пришлось работать. На них.

Но вернемся к Замку. Честно говоря, это самое внушительное жилище в нашем селении. Старик Дестина, я имею в виду отца Прокурора, построил его сразу же после Седанского разгрома. И не поскупился. В нашем краю, хоть и мало говорят, любят порой внушить почтение другими средствами. Прокурор всегда там жил. Даже больше того: он там родился и умер.

Замок огромен, не по мерке человека. Тем более что семья никогда не была многочисленной. Старик Дестина, как только заполучил сына, на том и остановился. Официально он был вполне удовлетворен. Что не помешало ему наспиговать еще несколько животов очень красивыми байстрюками, которым в день их двадцатилетия он давал золотую монету вместе с прекрасным рекомендательным письмом и символическим пинком под зад, чтобы они отправлялись куда подальше, проверить, кругла ли Земля. У нас это называют щедростью. Не все так поступают.

Прокурор был последним из Дестины. Других не осталось. Не то чтобы он не был женат, но его жена умерла слишком рано, всего через полгода после свадьбы, на которую съехалось все, что было в краю богатого и знатного. Невеста происходила из рода де Венсе. Ее предки сражались при Креси. Предки простолюдины тоже, конечно, там сражались, но их имен никто не помнит, да и всем плевать.

Я видел ее портрет времен бракосочетания, висевший в вестибюле замка. Художник приехал из самого Парижа. Ему удалось уловить в лице жены Дестина предчувствие близкого конца. Это было поразительно: бледность молодой женщины, которой суждено вскоре умереть, и покорность судьбе в ее чертах. Ее звали Клелия. Что отнюдь не банально, и красиво высечено на розовом мраморе ее могилы.

В парке Замка запросто мог бы разместиться целый полк. Он окаймлен водой: во-первых, рядом проходит большой канал (принадлежащая коммуне тропинка в глубине парка – кратчайший путь между Ратушной площадью и грузовой пристанью); потом уже упоминавшийся мной малый канал, через который старик велел перебросить японский мостик, размазанный клеевой краской. Люди прозвали его «Кровяной колбасой», потому что он цветом напоминает вареную кровь. На другом берегу канала виднеются большие окна высокого здания, лаборатории Завода, где колдуют инженеры, стараясь дать своему хозяину заработать побольше денег. А справа от парка лениво струится узкая извилистая речушка, Герланта, чье название вполне дает представление о ее медлительных водах³, сплошь в водоворотах и кувшинках. Водой тут пропитано все. Замковый парк – словно большая намокшая тряпка. Его травы беспрестанно сочатся влагой. В таком месте того и гляди подхватишь какую-нибудь болезнь.

Что и случилось с Клелией Дестина: все уложилось в три недели между первым визитом доктора и последней лопатой Острана, могильщика, которую он всегда высыпает в могилу очень медленно.

– А почему эту, а не остальные? – спросил я его однажды.

– Это чтобы она, – ответил он, глядя на меня своими похожими на темные колодцы глазами, – осталась в памяти...

Остран – малость балагур и любит производить впечатление. Похоже, он ошибся ремеслом, я так и вижу его на театральных подмостках.

Сам-то старик Дестина происходил из крестьян, прямоком от земли, но к своим пятидесяти годам все же сумел от нее отчиститься – с помощью банкнот и мешков с золотом. Стал вращаться в совсем другом мире. На него работало шесть сотен человек, он владел пятью фермами, которые сдавал в аренду, восемьюстами гектарами леса, сплошь одни дубы, множеством пастбищ, десятью доходными домами в В... и целым матрасом акций, и не каких-нибудь дурацких, никаких вам Панамских, на котором могли бы улечься десять человек, не касаясь друг друга локтями.

Он принимал и его принимали. Повсюду. Как у епископа, так и у префекта полиции. Стал важным человеком.

Я еще не упомянул о матери Прокурора. Она-то была совсем из другого теста: происходила из лучшего мира, тоже связанного с землей, конечно, но не с миром работы; она была из мира тех, кто владеет землей испокон века. Принесла мужу в приданое больше половины его имущества да немного хороших манер. Потом отстранилась, уйдя в книги и дамское рукоделье. Получив право выбрать имя сыну, она выбрала *Анж*. Старик добавил к нему *Пьер*. Он решил, что *Анжу* не хватает силы и мужественности. Потом она уже почти не виделась с сыном. Между английскими няньками первых лет и иезуитским коллежем время пролетело незаметно, мать и глазом моргнуть не успела. Отдала в интернат розовокожего плаксу с припухшими глазами, а взамен однажды получила несколько скованного юнца с тремя волосками между двух прыщей на подбородке, который смотрел на нее сверху вниз, –

³ Название *Guerlante* на слух воспринимается как «очень медленная» – *guère lente* (фр.).

в общем, настоящего маленького господинчика, набитого латынью, греческим, петушиными мечтами и чванством.

Она умерла так же, как жила: отстраненно. Немногие это заметили. Сын тогда был в Париже, изучал право. Он приехал на похороны, еще больше повзрослев и пообтершись в столице, приобретя умение вести беседу, тросточку из светлого дерева, безупречный воротничок и тонкие напояженные усики *а-ля Жобер* – последний шик! Старик заказал самый красивый гроб у столяра, в первый раз в жизни имевшему дело с палисандром и красным деревом, и велел привинтить к нему ручки из золота. Из настоящего золота. Потом построил склеп, на котором одна бронзовая статуя простирает руки к небу, а другая, коленопреклоненная, молча плачет: не то чтобы в этом был глубокий смысл, но производило прекрасное впечатление.

Из-за траура старик ни в чем не изменил привычкам. Всего лишь заказал себе три черных суконных костюма и к ним креповые нарукавные повязки.

На следующий день после похорон сын снова уехал в Париж. И оставался там многие годы.

Потом однажды вновь объявился, чересчур посерьезневший и ставший прокурором. Это был уже не тот сконфуженный молодчик, который бросил три розы на гроб своей матери с самодовольной гримасой, а потом так же сухо убежал, боясь опоздать на поезд. Казалось, будто что-то надломило его изнутри и немного согнуло. Хотя никто так и не узнал, что именно.

Позже вдовство окончательно его доломало. Он тоже отстранился. От мира. От нас. Наверняка и от себя самого. Думаю, он любил свой юный оранжерейный цветок.

Старик Дестина умер через восемь лет после жены – его хватил удар на проселочной дороге; он шел на одну из своих ферм, которые сдавал в аренду, чтобы отругать фермера, а может, даже вышвырнуть вон. Так его и нашли: он лежал с открытым ртом, уткнувшись носом в довольно густую апрельскую грязь, которой мы были обязаны дождям, хлеставшим с неба и превращавшим землю в клейкое месиво. В конце концов, он вернулся туда, откуда вышел. Круг замкнулся. И деньги старику не очень-то помогли. Помер как батрак.

И тогда его сын по-настоящему остался один. Один в огромном доме.

Он сохранил привычку смотреть на людей свысока. Однако удовлетворялся малым. Перестав быть расфранченным хлыщом с надменным взглядом, стал всего лишь стареющим мужчиной. Работа поглощала его целиком. При старике в Замке работало шесть садовников, сторож, кухарка, три выездных лакея, четыре горничных и шофер. Вся эта челядь, которую держали в ежовых рукавицах, ютилась в тесных службах и каморках под самой крышей, где зимой вода замерзала в кувшинах.

Прокурор поблагодарил всех. Он не был скрягой. Каждому дал прекрасное рекомендательное письмо и порядочную сумму. Но оставил только кухарку Барб, которая в силу обстоятельств стала заодно горничной, и ее мужа, прозванного *Важняком*, потому что никто не видел, как он улыбается, даже жена, лицо которой неизменно украшали веселые складочки. *Важняк*, как мог, поддерживал порядок в усадьбе и занимался всякого рода мелкими починками. Слуги редко покидали Замок. Их никто не слышал. Прокурора, впрочем, тоже. Дом казался сонным. Кровля одной из башенок протекала. Некоторые решетчатые ставни душила своими плетями большая глициния, которой позволили разрастись. Кое-какие из угловых камней полопались от мороза. Дом старел, как и люди.

Дестина никого у себя не принимал. Повернулся ко всем спиной. Каждое воскресенье ходил в церковь. У него там была своя скамья, отмеченная семейными инициалами, вырезанными на дубовой спинке. Он не пропустил ни одной мессы. Кюре во время проповеди с нежностью на него поглядывал, как на кардинала или сообщника. Потом, по окончании службы, когда толпа в картузах и вышитых платках вытекала наружу, сопровождал его до

самой паперти. Под трезвон колокола, пока Дестина надевал свои шевровые перчатки – руки у него были изящные, дамские, а пальцы тонкие, как мундштук, – они говорили о всяких пустяках, но таким тоном, будто один почитает второго знатоком человеческих душ, а второй первого – практиком, глубоко изучившим их на деле. Балет завершился. После чего Прокурор возвращался в Замок, и каждый со злорадством воображал себе его одиночество.

Как-то раз явился один из директоров Завода и испросил милости быть принятым в Замке. Протокол, обмен визитными карточками, расшаркивания и поклоны. Директор принят. Это толстый приземистый бельгиец с курчавыми рыжими бакенбардами, довольно смешливый и одетый как *джентльмен* из романа: коротенькое, едва прикрывающее зад пальто, клетчатые панталоны с сутажем и низкие лакированные сапоги. Короче, приходит Барб с большим подносом и всем необходимым для чаепития. Прислуживает им. Исчезает. Директор болтает. Дестина мало говорит, мало пьет, не смеется, вежливо слушает. А гость все ходит вокруг да около, добрых десять минут разглагольствует о бильярде, потом – об охоте на куропаток, о бридже, о гаванских сигарах и, наконец, о французской гастрономии. Он сидит вот уже три четверти часа. Начинает было говорить о погоде, как вдруг Дестина глядит на свои часы, немного искоса, но все же достаточно медленно, чтобы дать директору возможность это заметить.

Директор понимающе кашляет, отставляет свою чашку, опять кашляет, вновь ее берет, наконец осмеливается: он хочет попросить об одной милости, но не знает, посмеет ли, он колеблется, он, собственно, боится показаться назойливым, может быть, даже грубым... И в конце концов, бросается в воду очертя голову: замок большой, очень большой, при нем имеются кое-какие пристройки, в частности маленький домик в парке, необитаемый, но очаровательный, а главное, стоящий совершенно отдельно. Проблема его, директора, в том, что дела на Заводе идут хорошо, слишком хорошо, и требуется все больше и больше персонала, особенно инженеров, руководителей; но их уже некуда селить, ведь не селить же их в городе, в домах для рабочих, не так ли, не вынуждать же их сталкиваться с этими людьми, которые порой спят четвером на одной кровати, пьют дрянное вино, ругаются через слово и размножаются как животные, нет, никогда! Тут-то и осенила директора одна идея, всего лишь идея... если господин Прокурор согласится, хотя, разумеется, его ничто не обязывает, ведь каждый в своем доме хозяин, но если он все-таки согласится сдать маленький домик, то Завод и директор будут ему очень признательны, заплатят любую цену и, разумеется, поселят туда не кого попало, а только людей приличных, вежливых, скромных, тихих, только руководство второго звена за отсутствием первого, и без детей. Он дает свое директорское слово и при этом потеет, большие капли каплют на его пристяжной воротничок и на сапоги. Директор умолкает, ждет, не осмеливается даже взглянуть на Дестина, который тем временем, встав, созерцает парк и туман, который обволакивает сам себя.

Наступает долгое молчание. Директор уже сожалеет о своем демарше, как вдруг Дестина поворачивается и говорит ему, что согласен. Вот так просто. Еле слышным голосом. Гость никак не может опомниться. Кланяется, лепечет, бормочет, благодарит словами и руками, пятится и убегает, пока хозяин не передумал.

Почему Прокурор согласился? Быть может, просто чтобы директор убрался поскорее и снова оставил его в его тишине; или ему было приятно, что его просят, хотя бы раз в жизни, о чем-то ином, нежели приговорить к смерти или отказать в этом.

IV

Было это году в девяносто седьмом – девяносто восьмом. Давно. Завод оплатил ремонт домика в саду. Сырость источила его как старый трюм. Туда сваливали всякий ненужный хлам, всего понемногу: шкафы без ящиков, крысоловки, проржавевшие, истончившиеся, как месяц, косы, камни, куски шифера, коляску вроде тильбюри, сломанные игрушки, мотки бечевы, садовые инструменты, одежду, превратившуюся в лохмотья, а также множество оленьих и кабаньих голов, вполне мертвых и набитых соломой – старик был страстным охотником. Отрезать головы велел его сын, но поскольку сам он терпеть не мог любоваться ими, то распорядился перетащить их сюда, в общую кучу. Пауки заткали ее своей паутиной, сделав похожей на саркофаг и придав этой рухляди налет древности и тайн египетских. Разобрав все это, нарочно выписали декоратора из Брюсселя, чтобы привести домик в божеский вид.

Первый жилец прибыл сразу же по окончании работ. Через полгода его сменил второй, а когда тот тоже уехал, вселился третий, вслед за ним четвертый и так далее – постояльцев уже перестали считать. Их много тут побывало, они оставались, по меньшей мере, на год, и все были похожи друг на друга. Люди называли их одним именем. Говорили: «Гляди-ка, вон Жилец идет!» Это были крупные ребята, еще довольно молодые, которые не шумели, никогда не выходили, не приводили женщин, следовали предписаниям. Что до остального, то в семь часов они уходили на Завод, возвращались в восемь, после ужина в большом здании, служившем столовой господам инженерам и которое в городе окрестили *Казино* – впрочем, непонятно почему, в нем ведь никто никогда не играл! Некоторые жильцы порой отваживались в воскресенье немного пройтись по парку. Дестина позволял им это, ничего не говорил. Просто смотрел в окно и ждал, когда они уйдут, чтобы самому размять ноги и посидеть на скамье.

Проходили годы. Жизнь Дестина словно следовала неизменному ритуалу, поделенная между зданием суда в В... кладбищем, куда он навещал каждую неделю на могилу жены, и Замком, где обитал, замкнуто и словно незримо, отгородившись от мира, который малопомалу соткал вокруг него кокон суровой легенды.

Он старел, но оставался таким же. Внешне во всяком случае. Все та же леденящая серьезность и молчание, которое казалось плотным, будто наполненный событиями век. Если кто-то хотел услышать его голос, впрочем, довольно тихий, достаточно было сходить на заседание суда. Он там часто выступал. Преступлений у нас случается больше, чем в других местах. Быть может, потому что зимы длинные, и люди скучают, а лето такое жаркое, что кровь закипает в жилах.

Присяжные не всегда понимали, что Прокурор хотел сказать: он был слишком начитан, а они – недостаточно. Среди них попадались всякие, но редко встречался кто-нибудь выдающийся: по большей части это были вполне заурядные люди. На скамье сидели бок о бок заскорузлые кустари и краснолицые крестьяне, мелкие заработавшиеся чиновники, священники в поношенной сутане, которые приходили со своего деревенского прихода, встав вместе с солнцем, возчики, изнуренные рабочие... Все сидели на одной скамье, с правильной стороны. Но многие могли бы оказаться и на той, что напротив, между двумя усатыми жандармами, застывшими, как истуканы. И я уверен, что в глубине души они смутно это признавали, не желая себе в этом признаться, и именно поэтому часто проявляли столько ненависти и нетерпимости к подсудимому, к тому, чьим товарищем по несчастью или по духу они сами в общем-то могли стать.

Когда в зале суда раздавался голос Дестина, смолкали все шушуканья. Казалось, будто зал одергивает себя, как перед зеркалом тянут за рубашку, поправляя воротничок. Зал переглядывался и переставал дышать. В эту тишину Прокурор ронял свои первые слова. И

тишина перед ними разрывалась. Никогда больше пяти листков, каким бы ни было дело или обвиняемый. Фокус Прокурора был прост как дважды два. Никакого пускания пыли в глаза. Хладнокровное и скрупулезное описание преступления и жертвы, вот и все. Но это уже много, особенно когда не замалчивают ни одной подробности. Чаще всего подспорьем ему служил медицинский отчет. Дестина его придерживался. Ему было достаточно просто читать, выделяя голосом самые хлесткие слова. Он не забывал ни единой раны, ни одной зарубки, ни малейшей царапины на перерезанном горле или вспоротом животе. Перед публикой и присяжными возникали образы, явившиеся из самых мрачных глубин, дела наглядным злом и его метаморфозы.

Часто говорят, что неизвестное страшит. Я же думаю, что страх рождается, когда однажды узнаешь то, чего не знал накануне. В этом-то и состоял секрет Дестина: как ни в чем не бывало сунуть под нос вполне довольным людям то, рядом с чем они не хотели жить. И готово дело. Уверенная победа. Он мог требовать голову. Присяжные подносили ему ее на серебряном блюде.

Затем он отправлялся обедать в «Ребийон». «Еще одного окоротили!» Бурраш провожал Прокурора к столику и усаживал на стул как вельможу. Дестина разворачивал салфетку, звякал по бокалу ножом, плашмя. Судья Мьерк молча его приветствовал, Дестина отвечал ему тем же. Каждый сидел за своим столом, соблюдая по меньшей мере десять метров дистанции. Они никогда не обменивались ни словом. Мьерк обжирался по-людоедски, повязав салфетку на шею, будто конюх, пачкая пальцы в жирном соусе и глядя мутным взглядом, уже затуманенным бутылками бруйи⁴. Прокурор-то был человеком воспитанным. Он резал свою рыбу, словно лаская. По-прежнему шел дождь. Судья Мьерк заглатывал десерты. *Денная Красавица* дремала у большого очага, убаюканная усталостью и пляской пламени. Прокурор медлил, плутая в излучинах своей приторно-сладкой грезы.

А где-то уже точили нож и возводили эшафот.

Мне говорили, что таланты Дестина вкупе с богатством могли вознести его очень высоко. Вместо этого он всю жизнь оставался у нас. То есть нигде, в краю, куда шум жизни годами долетал лишь как далекая музыка, вплоть до того прекрасного утра, когда жизнь, свалившись нам на голову, стала корежить ее самым ужасным образом целых четыре года.

Портрет Клелии по-прежнему украшал вестибюль Замка. Ее улыбка была свидетелем того, как меняется и рушится в пропасть мир. На ней был наряд легкомысленного, уже миновавшего времени. За долгие годы бледность исчезла, потемневший лак окрасил ей щеки розовой теплотой. Дестина каждый день проходил у ее ног, еще чуть больше состарившийся, чуть больше угасший; его шаги и движения становились все медлительнее. Оба отдалялись друг от друга все больше. Внезапная смерть забирает прекрасные вещи, но хранит их в прежнем состоянии. В том и состоит ее истинное величие. С этим не поборешься.

Дестина нравилось наблюдать за ходом времени, ничего не делая, только сидя в ротанговом шезлонге у окна или на скамье в парке, которая благодаря искусственному пригорку, усеянному по весне анемонами и барвинками, возвышалась над томными водами Герланты и более быстрым течением малого канала. Тогда его можно было принять за статую.

Вот уже столько лет я пытаюсь понять, хотя не считаю себя умнее других. Продвигаюсь ощупью, блуждаю, кружу на месте. Поначалу, до *Дела*, Дестина был для меня фамилией, должностью, домом, богатством, лицом, которое я видел по меньшей мере раза два-три каждую неделю, приподнимая шляпу. Ну а что таилось за всем этим – поди знай! Но с тех пор из-за того, что живу со своим призраком, он стал мне чем-то вроде старого знакомого, незадач-

⁴ Разновидность божоле.

ливого родственника, какой-то частью меня самого, так сказать, которого я в лучшем случае пытаюсь оживить и разговорить, чтобы задать ему вопрос. Один-единственный. Порой я говорю себе, что только зря теряю время, что этот человек был непроницаем, как туман, и что мне на это не хватит даже тысячи вечеров. Но теперь-то у меня полным-полно времени, девать некуда. Я как бы вне мира. Всякая суета кажется мне такой далекой от меня. Я живу в кильватере Истории, а это уже не моя история. И мало-помалу меня относит в сторону.

V

1914 год. Накануне большой резни у нас вдруг случилась нехватка инженеров. Хотя Завод работал по-прежнему, неведь что заставляло бельгийцев оставаться в своем королевстве, в хрупкой тени своего опереточного монарха. С множеством расшаркиваний и выражений почтения Прокурору сообщили, что у него больше не будет жилья.

Лето обещало быть по-настоящему жарким – как под увитыми зеленью сводами беседок, так и в головах многих патриотов, которые завелись все одновременно, будто прекрасные часовые механизмы. Повсюду сжимали кулаки и ворошили болезненные воспоминания. Здесь, как и повсюду, раны затягивались с трудом, особенно те, что вовсю кровоточат и смердят, если их злобно беречь вечерами. Из самолюбия и глупости целая страна была готова броситься в пасть другой. Отцы подбивали сыновей. Сыновья подбивали отцов. Только женщины, матери, жены или сестры смотрели на все это трезво, сердцем чуя беду, и это чувство переносило их далеко по ту сторону дня веселых воплей, выпитых бутылок и песен Деруледа, которые трепали зеленую листву каштанов и отдавались гулом в ушах.

Наш городок услышал войну, но по-настоящему в ней не участвовал. Никого не задевая, можно даже сказать, что он жил ею: все мужчины работали на Завод. В нем нуждались. Приказ свалился с самого верха. На этот раз хороший, что редко бывает: уж не знаю, какой далекий начальник дал его в обход правил, но все рабочие были мобилизованы на гражданскую службу: таким образом восемьсот здоровых мужиков избежали и серо-голубых шинелей, и ярко-красных штанов⁵. Восемьсот мужчин (хотя в глазах некоторых они никогда ими и не были) вылезали каждое утро не из грязного окопа, а из теплой постели, из кольца сонных рук, и шли толкать вагонетки, а не ворочать трупы. Вот повезло-то! Взрывы снарядов, страх, товарищи, стонущие и умирающие в двадцати шагах, повиснув на колючей проволоке, крысы, грызущие мертвецов, – все это так далеко! Вместо этого – жизнь, простая, настоящая. И объятия каждое утро – не сон, растворявшийся в дыму, а теплая уверенность, пахнущая сном и женщиной. «Счастливчики! Попытались тут...» – вот что думали все эти покалеченные солдаты в госпитале, одноглазые, безрукие, безногие, с изуродованными лицами, покоренные, искромсанные, отравленные газом, встречая на улицах румяных и пышущих здоровьем рабочих, спешивших на Завод со своими сумками. Иногда ковылявшие мимо калеки на деревянной ноге или с рукой на перевязи оборачивались и плевали на землю. Надо их понять. Можно ненавидеть и за меньшее.

Но не все были рабочими. Несколько крестьян, подхитивших по возрасту, обменяли свои вилы на винтовку. Некоторые, гордые, как кадеты, уходя, не знали, что вскоре их имена будут высечены на памятнике павшим, который тогда еще только предстояло воздвигнуть.

А потом на войну ушел учитель с невероятной фамилией – Фракасс. Он был не из наших мест. Но его уход стал знаменательной датой. Учителю устроили торжественные проводы. Дети сочинили песенку, довольно трогательную и наивную, от которой у него на глаза навернулись слезы. Муниципальный совет преподнес кисет и пару городских перчаток. Я все недоумеваю, что ему было делать с этими перчатками цвета лососины из нежной ткани, на которые он недоверчиво воззрился, открыв коробку из акульей кожи, высланную шелковой бумагой. Не знаю, что стало с этим Фракассом через четыре года – погиб, изувечен или жив-здоров? Во всяком случае, сюда он так и не вернулся, и я его понимаю: война не только истребила кучу народа, она также разорвала надвое мир наших воспоминаний, словно все, что было прежде, оказалось в раю, на дне старого кармана, в который уже никогда не осмелишься снова сунуть руку.

⁵ Обмундирование французского пехотинца в 1914 году.

Вместо Фракасса прислали человека на замену, который уже не был годен для мобилизации. Особенно мне запомнились его безумные глаза, два стальных шарика на устричных белках. «Я против!» – сразу заявил он мэру, пришедшему показать ему класс. Так его и прозвали: *Против*. Прекрасно быть против. Но против чего? Об этом так никто и не узнал. В любом случае через три месяца все кончилось: малый наверняка уже давно начал сходиться с ума. Иногда останавливал урок и, уставившись на детей, подражал звуку пулеметной очереди или же изображал мимикой снаряд, падающий на землю, бросался на пол и долго лежал, совершенно неподвижно. Ему никто не был нужен. Ведь безумие – страна, куда не всякий попадает. Это еще заслужить надо. Как бы то ни было, он-то ее достиг по-барски, отдав все швартовы и якоря с шиком капитана, который в одиночку топит свой корабль, стоя на носу.

Каждый вечер новый учитель прогуливался вдоль канала, подпрыгивая на ходу. И говорил сам с собой, чаще всего словами, которые никто не понимал, останавливался, сражаясь ореховым прутиком с незримым противником, и снова двигался дальше вприпрыжку, бормоча: «Цок-цок-цок! Скок-поскок!»

Он перешел границу в день большой канонады. Наши стекла каждые пять секунд вздрагивали, как поверхность воды при сильном ветре. Воздух был полон запахом пороха и падали. Воняло даже в наших домах. Мы затыкали щели в окнах мокрыми тряпками. Позже мальчишки рассказали, что *Против* просидел примерно час, сдавливая голову обеими руками, так что та чуть не лопнула, а потом залез на стол и стал методично снимать с себя всю одежду, горланя «Марсельезу». А потом, голый, как Адам, подбежал к знамени, бросил его на землю, помочился на него и попытался поджечь. Тут-то сын Жанмера, самый здоровенный в классе, ему уже около пятнадцати было, преспокойно встал и врезал учителю чугунной кочергой по лбу, уложив его на месте.

«Знамя – это святое!» – сказал сын Жанмера позднее, очень гордый собой, объясняя окружившим его свой поступок. Паренек уже тогда был чувствителен к таким вещам. Он погиб через три года при Шмен-де-Дам. Тоже из-за знамени.

Когда прибыл мэр, учитель лежал в чем мать родила на сине-бело-красном полотнище; его волосы немного обгорели в огне, который по-настоящему так и не захотел разгореться. Потом беднягу увели двое санитаров. Смирительная рубашка придавала ему вид фехтовальщика, а на лбу, словно какая-то странная награда, красовалась фиолетовая шишка. Он уже не говорил. Был похож на малого ребенка, которого только что отругали. Думаю, тогда-то все и началось.

Школа осталась без учителя, и ситуация, радовавшая детвору, оказалась не по вкусу властям, которым требовалось забивать молодежи голову и во множестве поставлять солдат, готовых броситься врукопашную. Тем более что первые иллюзии («Боши? Да мы через две недели будем в их Берлине!») уже развеялись, и никто не знал, сколько времени продлится война, так что лучше было подготовить резервы. На всякий случай.

Мэр был готов рвать на себе волосы и трезвонить во все колокола, но это ничего не меняло: другого решения, кроме как заменить кем-нибудь Фракасса, не было.

А потом оно появилось само по себе, 13 декабря 1914 года, чтобы уж быть точным, приехало в почтовой карете в В... остановившейся как обычно напротив скобяной лавки Кантена-Тъери, в витрине которой рядом с капканами на кротов неизменно были выставлены банки заклепок всех размеров. Из кареты вылезли четыре скототорговца, красные, как кардинальские митры, и толкавшие друг друга локтями, потому что переусердствовали, спрыскивая сделки; затем две женщины, вдовы, отправившиеся в город, чтобы продать свои вышивки крестиком; папаша Бертъе, забросивший свои бумажки нотариус, который навещался раз в неделю в заднее помещение гран-кафе «Эксцельсиор», чтобы поиграть в бридж

с несколькими бездельниками вроде него самого. Затем появились еще три молоденькие девицы, намеревавшиеся сделать кое-какие покупки для свадьбы одной из них. И, наконец, самой последней, когда уже все решили, что внутри больше нет никого, выпорхнула девушка. Настоящий солнечный лучик.

Она медленно, оценивающе посмотрела направо, потом налево. И вдруг смолк грохот пушек и взрывы снарядов. День еще немного пахнул теплом осени и соком папоротников. У ее ног стояли две маленькие сумки из коричневой кожи, медные застёжки которых словно хранили тайны. Девушка была одета просто, без затей и причуд. Она наклонилась, подняла свои сумки – и все тихо пропало с наших глаз, растворилось в ее тонком силуэте, который вечер обволакивал зыбкой голубовато-розовой дымкой.

Позже мы узнали ее имя, в котором дремал цветок – Лизия⁶; имя шло ей как бальное платье. Ей еще не было и двадцати двух лет, она ехала с Севера и завернула к нам. Ее фамилия была Верарен. Девушка скрылась с наших глаз, но ушла недалеко, всего лишь до галантерейной лавки Огюстины Маршопра. Та по ее просьбе указала мэрию и дом мэра. Как потом говорили старые перечницы, она спросила дорогу «голоском сладким, как сахар». А мамаша Маршопра, у которой язык был словно помело, закрыла дверь, опустила железные шторы и побежала рассказывать все это своей давней подруге Мелани Бонпье, старой ханже в чепце, которая большую часть времени следила за улицей через низкое окошко, приткнувшись между горшками с зеленью, закрывавшей стекла водянистыми завитками, и толстым котом-кастратом с маленькой головкой. И обе старухи принялись выдвигать гипотезы, фантазируя в духе грошовых романов, которыми они объедались зимними вечерами, пересказывая друг другу все эпизоды и делая их еще более напыщенными и глупыми, пока через полчаса не явилась Луизетта, служанка мэра, девица славная, как гусыня.

- Ну, кто она? – спросила ее мамаша Маршопра.
- Кто?
- Вот дура! Да девица с двумя сумками!
- Она с Севера.
- С Севера, с какого Севера? – не унималась галантерейщица.
- Мне-то откуда знать? С Севера и все тут, их ведь не тьма поди.
- И чего ей надо?
- Хочет место получить.
- Какое место?
- Место Фракасса.
- Так она учительница?
- Так говорит.
- А мэр что сказал?
- О, он ей улыбался вовсю!
- Не удивляюсь!
- Сказал: «Вы меня спасаете!»
- «Вы меня спасаете!»
- Ну да, я так и говорю.
- Еще один, у кого задняя мысль свербит!
- Какая мысль?
- Бедняжка моя! В штанах свербит, если предпочитаешь, ты же сама его знаешь, мэра твоего, он ведь мужчина!
- Так в штанах нет мыслей...

⁶ Lys – «лилия» (фр.).

– Господи, какая дуреха! А выродок твой откуда у тебя взялся, сквозняком надуло?

Разобиженная Луизетта повернулась и ушла. Старухи были довольны. Теперь им было с чем провести вечер: поговорить о Севере, о мужчинах, об их порочности и о юном создании, этой девице, которая была похожа на кого угодно, только не на учительницу, а главное, была очень красива, слишком красива, чтобы не иметь другого ремесла.

На следующий день мы знали почти все.

Лизия Верарен переночевала в самом большом номере единственной гостиницы нашего городка за счет мэрии. А мэр, вырядившийся как жених, зашел за ней утром, чтобы повсюду представить ее и отвести в школу. Надо было его видеть, нашего мэра, который так расшаркивался и вертелся, что чуть не рвалась мотня его черных крапчатых брюк, что вкупе с сотней его кило выглядело грациозным, как танец циркового слона, а барышня, пожимая наши руки своей легкой, изящной ладошкой, по-прежнему смотрела куда-то за пределы пейзажа, будто хотела броситься туда и потеряться.

Она вошла в школу и осмотрела классную комнату, словно поле битвы. Там все воняло крестьянскими детьми. От сожженного знамени на полу еще оставалось немного пепла. Из-за нескольких перевернутых стульев казалось, что в классе недавно закончилась пирушка. Некоторые из нас наблюдали сцену снаружи, не таясь, прижавшись носом к оконному стеклу. На доске было написано начало стихотворения:

Конечно, они ощутили укус холода
Под вспоротыми звездами прямо в сердце нагое
И смерть наполовину...

На этом слова обрывались, надпись тоже. Должно быть, это написал *Против*; почерк напомнил нам его глаза и гимнастические движения, в то время как сам он, наверное, лежал на вшивом тюфяке или дрожал под ледяным душем и сиреневыми электрическими разрядами. Но где?

Мэр заговорил, открыв дверь и указав на знамя, потом сунул похожие на сосиски пальцы в часовые кармашки шелкового жилета и многозначительно умолк, время от времени кося на нас нехорошим взглядом, который наверняка означал: «А вы, все остальные, что тут делаете, чего вам надо? Проваливайте, хватит светить тут своими рожами!» Но никто не уходил, все смаковали эту сцену, как бокал редкого вина.

Молодая женщина прошла по классу мелкими шажками, взад-вперед вдоль парт, на которых еще лежали тетради и ручки. Наклонилась над одной из них, прочитала страничку написанного и улыбнулась – и все увидели, как пенятся, словно золотой флер, волосы на шее между воротничком блузки и обнаженной кожей. Затем она остановилась перед пеплом знамени, подняла двумя пальчиками два упавших стула как ни в чем не бывало, поправила засохшие цветы в вазе, стерла без сожалений незаконченные стихи на доске, после чего улыбнулась мэру, застывшему столбом, пригвожденному к месту этой юной улыбкой, в то время как в пятнадцати лье от них люди резали друг друга холодным оружием, делали в штаны со страху и каждый день умирали тысячами вдали от всякой женской улыбки на опустошенной земле, где даже мысль о женщине казалась химерой, сном пьяницы, слишком прекрасным ругательством.

Мэр похлопал себя по животу, чтобы придать себе осанистости. Лизия Верарен вышла из класса, будто танцуя.

VI

Учителей всегда селили над школой: три чистенькие опрятные комнаты окнами прямо на юг, откуда был виден склон холма, весь заросший, словно мехом, виноградом и мирабеллю. Фракасс превратил эту квартирку в уютное местечко, которое я видел раз или два, как-то вечером; мы тогда говорили обо всем и ни о чем, и каждый из нас был немного скован. В квартире пахло пчелиным воском, книжными переплетами, размышлениями и безбрачием. Когда Фракасса сменил *Против*, сюда уже никто не заглядывал, даже после того, как этого психа забрали санитары.

Мэр повернул ключ в замочной скважине, с трудом толкнул дверь, немного удивленный ее сопротивлением, вошел, и вдруг прекрасная улыбка экскурсовода сползла с его физиономии; я это предполагаю, восстанавливаю историю, заполняю пустоты, но думаю, что ничего не придумываю, потому что все мы увидели ужас, выступивший на лбу мэра огромными каплями пота, и потрясение на побагровевшем, как у удушенника, лице, когда он вышел оттуда через несколько минут, чтобы глотнуть побольше воздуха и привалиться к стене. Потом вытащил из кармана большой клетчатый, не очень чистый платок и утерся им, будто крестьянин, которым никогда не переставал быть.

Через какое-то время Лизия Верарен тоже вернулась; сначала сощурилась на свету, потом открыла глаза и поглядела на нас с улыбкой. После чего пошла прочь, но через несколько шагов нагнулась и присела на корточки, чтобы подобрать два поздних каштана, которые только что стукнули о землю, брызнув свежими коричневатыми отблесками своей великолепной кожи. Она покрутила их в руках, понюхала, закрыв глаза, и медленно ушла. И тут все ринулись на лестницу, толкаясь локтями: это было сущее светопреставление.

От былого очарования квартирке не осталось ничего. Попросту ничего. *Против* разорил это место методично и кропотливо, вплоть до того, что разрезал каждую книгу библиотеки на квадратики сантиметр на сантиметр (писарь Леплю, у которого была мания точности, измерил их на наших глазах), искромсал перочинным ножиком всю мебель, предмет за предметом, пока не превратил ее в огромные холмы светлой стружки. Обьедки привлекли тучи всевозможных насекомых. Грязное постельное белье лежало на полу бесплотными, подобными разбитым надгробным статуям телами. А по стенам, по всем стенам вились строки «Марсельезы», разворачивая свои воинственные, выписанные изящными буквами слова, а псих все писал и писал их на обоях с изображениями маргариток и штокроз, будто безумную молитву, отчего нам всем показалось, будто мы зажаты меж огромными страницами какой-то чудовищной книги, каждую букву которой он начертал кончиком пальца, обмакнув его в собственное дерьмо, наваленное по углам каждой комнаты за все время, проведенное у нас, быть может, после гимнастики или под ужасающий грохот пушек, рядом с невыносимым птичьим пением, рядом с непристойным запахом жимолости, сирени и роз, под небесной синевой, в сладостном дуновении ветра.

В конце концов, *Против* устроил себе собственную войну. Изобразил с помощью бритвы, ножа и экскрементов свое поле битвы, свой окоп и свой ад. И тоже кричал от боли, прежде чем рухнуть туда.

Правда, все это нестерпимо воняло, но мэр был в сущности лишь мелкой душонкой, без сердца и кишок. Меньше, чем ничто. Зато молодая учительница оказалась настоящей дамой: вышла из квартиры, не содрогнувшись, не осуждая. Посмотрела на небо, по которому проносились дым и круглые облака, сделала несколько шагов, подобрала пару каштанов и погладила их, словно воспаленные виски безумца, бледный лоб, побелевший от всех этих смертей, от всех этих мук, накопленных человечеством, от всех наших гнилостных, веками разверстанных ран, рядом с которыми запах дерьма — ничто, да, всего лишь слабый, сладко-

вато-кисловатый запах еще живого тела, *живого*, которое ничем не должно нас отталкивать, внушать нам стыд и разрушать нас.

Как бы то ни было, в квартире новая учительница жить не могла. Мэр был озадачен. Он никак не мог опомниться и заказал себе уже шестой *зеленец*, то бишь абсент, который выдул, как и предыдущие, одним духом, не дожидаясь, когда растворится сахар, пытаясь оправиться от соприкосновения с нашей всеобщей гнусностью, – и все это у Терье, в ближайшем кафе, где мы обмозговывали каллиграммы безумца и его вселенную из конфетти и нечистот, качая головами, крепко выпивая, пожимая плечами и глядя сквозь маленькую витрину на восток, темневший, будто чернильное молоко.

А потом, упившись, заснув и захрапев, мэр, в конце концов, разбил себе морду, свалившись со стула. Всеобщий смех. Угощение по кругу. Разговоры возобновляются. Все говорят. Говорят. И кто-то, уже не помню кто, сказал: «Надо поселить учительку у Прокурора в парке, в домике, где жилец жил!»

Все с мэром во главе нашли идею превосходной, мэр даже заявил, что уже и сам подумывал об этом какое-то время. Стали толкать друг друга локтями с понимающим видом. Было поздно. Церковный колокол отбил в темноту двенадцать ударов. Ветер захлопнул один из ставней. Снаружи дождь терся о землю, как большая река.

VII

На следующий день мэр отбросил все свое великолепие. Смиренно облачился в грубый вельвет, шерстяное пальто, картуз из выдры и ботинки с гвоздями. Забыл и думать о самоуверенной величавости и жениховском наряде. Ему больше не было нужды устраивать представление и играть роль: Лизия Верарен уже все поняла о его душе. Так что незачем изображать из себя хлыщеватого франта. Да к тому явиться к Прокурору в бальном наряде значило с самого начала восстановить его против себя. Тот посмотрел бы на мэра, как на обезьяну в человеческом платье.

Маленькая учительница по-прежнему безучастно улыбалась. Ее платье было таким же простым, как и в первый день, но в осенних и лесных тонах, обшитое брюггскими кружевами, что придавало всему наряду религиозную строгость. Мэр шлепал прямо по уличной грязи. Она же, ступая узкими ступнями по раскисшей от воды земле, избегала рытвин и луж. Казалось, это ее забавляет – прыгать, оставляя за собой на промокшей почве цепочку следов, словно тут резвился какой-то милый зверек; в ее гладких чертах очень молодой женщины еще угадывался шаловливый ребенок, которым она наверняка была прежде, когда, забросив игру в «классики», проскальзывала в сад, чтобы срывать там горстями вишни и красную смородину.

Лизия Верарен осталась ждать на крыльце Замка, когда мэр, вошедший один, изложил Дестина свою просьбу. Прокурор принял его в вестибюле, под десятиметровым потолком, стоя на холодных черно-белых квадратных плитках, образовавших на полу шахматную доску для игры, начавшейся в незапамятные времена, где люди – пешки, где есть богатые, могущественные и воинственные, а издалека, вечно падая, на них смотрят слуги и голодные бедняки. Мэр вывалил все чохом. Сразу. Ничего не приукрашивая и не подбирая красивые слова. Говорил, опустив глаза, глядя на квадраты пола и гетры Дестина, скроенные из первоклассной телячьей кожи. Он ничего не утаил – ни начертанной дерьмом «Марсельезы», ни зрелища конца света, ни идеи, пришедшей в голову многим, особенно ему: поселить малышку в парковом домике. Он умолк и стал ждать, оглушенный, как животное, налетевшее со всего маху на ограду парка или на ствол большого дуба. Прокурор не ответил ничего. Смотрел сквозь волнистое стекло входной двери на легкую фигурку, спокойно ходившую взад-вперед, потом дал понять мэру, что желает видеть молодую женщину, и тогда перед Лизией Верарен открылась дверь.

Я мог бы приукрасить свой рассказ, в сущности, это совсем нетрудно. Но ради чего? Правда гораздо сильнее, когда смотришь ей в лицо. Лизия вошла и протянула Дестина руку, такую тонкую, что он ее сначала не заметил, поглощенный созерцанием туфель молодой женщины, маленьких летних туфель из крепа и черной кожи, носки и каблуки которых немного запачкались грязью. И эта грязь, скорее серая, чем бурая, оставила свои жирные отпечатки на шахматных клетках пола, окрасив белым черные и темным белые квадраты.

Прокурор был известен тем, что его обувь, какой бы ни была погода, блестела ярче каски республиканского гвардейца. Мог идти снег или проливной дождь, мостовая могла совсем исчезнуть под грязью, но ноги этого человека всегда облекала незапятнанная кожа. Однажды я видел, как он смахивает пыль с туфель в коридорах суда, думая, что никто его не видит, а в это время чуть дальше, за ореховыми филенками, потемневшими от дыма за долгие годы, двенадцать присяжных на глазок прикидывали вес человеческой головы. В тот день в его жестах сквозило некоторое презрение, смешанное с брезгливостью. И я тогда многое понял. Дестина терпеть не мог грязь, даже самую естественную, самую земную. Обычно при виде грубых запачканных башмаков подсудных, которые теснились на скамьях зала суда, или встреченных на улице мужчин и женщин на него накатывала тошнота. По

виду вашей обуви он судил, достойны ли вы того, чтобы смотреть вам в глаза. И все это из-за совершенной полировки, сверкающей как череп плешильца на летнем солнце, или же корки засохшей земли, слоя дорожной пыли, блеска дождя на жесткой пустотелой коже.

Но тут, перед этими маленькими туфельками, которые заново перечертили мраморную шахматную доску, а вместе с ней и вселенную, все пошло иначе: словно движение мира застыло.

Наконец Дестина взял протянутую маленькую руку в свою и долго не выпускал. Это все тянулось и тянулось.

– Целую вечность, – сказал нам позже мэр и добавил: – И даже дольше! – Потом продолжил: – Прокурор все не выпускал ее руку, держал в своей, и его глаза, видели бы вы их, уже не были его глазами, и даже его губы, которые шевелились, или дрожали немного, словно он хотел что-то сказать, но из них ничего не выходило, ничего. Смотрел на малышку, прямо пожирал ее глазами, словно никогда не видел женщину, такую, во всяком случае... Я не знал куда деться, вы только подумайте, ведь эти двое были уже не там, а в каком-то другом месте, заперлись где-то, потерялись в глазах друг друга, потому что малышка не моргала, а только подставляла ему свою милую улыбку, и голову не опускала, и не казалась ни смущенной, ни оробевшей, а самым большим дураком в этой истории был, конечно, я... Я все искал, за что бы ухватиться, за что-нибудь такое, что оправдало бы мое присутствие, чтобы не показаться докучливым нахалом, вот и растворился в большом портрете его жены, в складках ее платья, которое доходило ей до самых пят. А что, по-вашему, мне было еще делать? Малышка, в конце концов, отняла свою руку, но взгляда не отвела, и прокурор тогда посмотрел на собственную руку, словно ему с нее кожу содрали. Долго молчал, затем глянул на меня и сказал «да». И все, просто «да». А потом я уж и не знаю. Наверняка мэр все прекрасно знал, но это не имело значения. Они с Лизией Верарен ушли из Замка. А Дестина остался. Надолго. Стоял на том же месте. В конце концов, поднялся в свою комнату тяжелым шагом (я это знаю от *Важняка*, который его еще никогда не видел таким сгорбленным, таким медлительным и ошалевшим), не ответил даже своему старому слуге, когда тот его спросил, все ли в порядке. Но, быть может, он вернулся вечером в тот же вестибюль, в полумрак, едва тронутый голубоватым свечением уличных фонарей, чтобы убедить себя в том, что он действительно это видел, чтобы посмотреть на тонкие следы грязи на черно-белой шахматной доске, а потом – в глаза своей безучастной супруги, которая тоже улыбалась, но улыбкой минувших времен, уже ничего не освещавшей, и казалась бесконечно далекой от него.

Потом начались странные дни. Война продолжалась, может, даже еще пуще, чем в любое другое время: дороги превратились в колеи беспрестанно кишевшего муравейника, в серый поток изнуренных, покрытых щетиной лиц. Грохот пушек в конце концов вообще перестал смолкать, хоть днем, хоть ночью, сопровождая наше существование, как тиканье зловещих часов, ворочавших своей большой стрелкой раненые тела и оборванные жизни. Хуже всего, что его почти перестали замечать. Мы каждый день видели, как двигались, всегда в одну сторону, молодые пешие мужчины, шедшие навстречу смерти, еще веря, что смогут ее обмануть. Они улыбались тому, чего еще не знали. В их глазах был свет прежней жизни. И только небо оставалось чистым и веселым, не замечая зло и тлен, что расползались по земле под его звездным сводом.

Молодая учительница поселилась в домике при Замке, в парке. Он подходил ей лучше, чем любому другому. Она превратила его в настоящую шкатулку для драгоценностей, под стать себе, куда ветер влетал без приглашения и ласкал бледно-голубые занавески и полевые цветы. Лизия Верарен долгими часами сидела у окна или на скамье в парке, держа в руках красный сафьяновый блокнотик и улыбаясь неизвестно чему; казалось, ее взгляд все-

гда устремлен к горизонту, даже за него, к какой-то почти невидимой точке, различимой только сердцем, но не глазами.

Мы быстро приняли ее и стали считать своей. Хотя наш городок вовсе не любит открываться чужакам, быть может, еще меньше – чужачкам, она сумела всех очаровать какими-то мелочами, и даже те, кто мог бы стать ее соперницами, я имею в виду девушек, искавших себе мужа, вскоре начали приветствовать ее, слегка кивая. Она откликалась на это с легкой живостью, которую вносила во все, что делала.

Ученики смотрели на Лизию Верарен с открытым ртом, что ее забавляло, но не вызывало ни малейшей насмешки. Никогда еще школа не была такой полной и радостной. Отцам с трудом удавалось удержать дома сыновей, которые отлынивали от малейшей работы, потому что каждый день вдали от парты превращался для них в долгое скучное воскресенье. Марсьяль Мер, местный дурачок, которому бык копытом отшиб половину мозгов, каждое утро приносил к двери школы собственноручно собранный букет полевых цветов, а когда не было цветов – пучок прекрасных трав, где к сладкому запаху люцерны примешивался пряный аромат чабреца. Иногда, не найдя ни травы, ни цветов, Марсьяль оставлял три камешка, которые заботливо отмывал в большом источнике на улице Пашамор, а затем вытирал о шерстяную ткань своей дырявой исподней рубашки. И исчезал до того, как молодая учительница находила его подношение. Некоторые смеялись над дурачком, сбрасывали траву или камешки на землю. Лизия Верарен неспешно их подбирала, пока обступившие ее ученики, не шевелясь, глазели на ее розовые щеки и белокурые волосы, оттенком напоминавшие янтарь, а потом уносила подарки в класс, словно лаская их, и ставила цветы или траву в синюю керамическую вазочку, изображавшую молодого лебедя, а камешки выкладывала на краю своего стола.

Марсьяль Мер смотрел на все это снаружи. Она благодарила его улыбкой. Он убегал. Иногда, встречаясь с ним на улице, она гладила его по лбу, как больного, у которого жар, и тот обмирал, чувствуя тепло ее руки.

Многим хотелось бы оказаться на его месте. Этот дурачок стал в некотором смысле частью их мечты. Молодая женщина баюкала его как ребенка, окружала заботой, будто юная невеста. Никому и в голову не приходило насмехаться над этим.

VIII

А Дестина? Тут другое дело: полная неясность. Может, только Барб знала его лучше других. Она рассказывала мне о нем, позже, через много лет. Через много лет после *Дела*, после войны. К тому времени уже все умерли, Дестина – в двадцать первом, остальные – тоже, так что ни к чему было копаться в золе. Но мне она все-таки рассказала. Это было под вечер, перед маленьким домиком, где она поселилась вместе с другими вдовами, такими же, как она, – *Важняка* в двадцать третьем году сбила машина, приближения которой он не услышал. Барб нашла утешение в болтовне и в пьяной вишне, много банок которой утащила из Замка. Вот ее собственные слова:

– Он изменился, как только малышка поселилась в домике, мы это сразу заметили. Начал по парку гулять, вроде как большой одуревший шмель на запах меда летит. Все ходил и ходил кругами, хоть в дождь, хоть в снег, хоть в ветер. Обычно-то он едва нос наружу высывал. Когда возвращался из В... запирался у себя в кабинете или в библиотеке, я ему приносила стакан воды на подносе, никогда ничего другого. Потом еще ужинал в семь часов. И все. А когда появилась учителька, все малость разладилось. Из суда стал раньше возвращаться, и сразу в парк. Сидел долго на скамейке, читал или на деревья смотрел. Я его частенько и у окна заставляла: уткнется носом в стекло и высматривает что-то снаружи, будто ищет незнамо что. А уж обеды – это вообще курам на смех. Он и раньше-то много не ел, а теперь вообще почти ни к чему не прикасался. Только махнет мне рукой, я все и унесу. Нельзя же одним святым духом питаться! Я как-то даже подумала: ох, найдем мы его однажды на полу, в комнате или еще где, когда с ним обморок, припадок или недомогание какое случится! Но нет. Ничего такого. Только осунулся, особенно щеки запали да губы стали еще тоньше, хотя они и без того уже были довольно тонкие. Он всегда рано ложился, а тут принялся колобродить по ночам, как сыч. Слышно было, как он ходит по этажам медленно и останавливается надолго. Я не больно-то понимала, что он мог там делать. Может, обмозговывал что-нибудь или мечтал, откуда мне знать. А по воскресеньям всегда норовил столкнуться с малышкой, когда та из дома выходила. Вроде бы случайно, но он все это нарочно подстраивал. Я сама иногда видела: сперва долго ждет, а потом вдруг вскочит как ни в чем не бывало. Она, конечно, делала вид, будто не удивляется, но не знаю, понимала ли в самом деле. Здоровалась с ним учтиво, потом уходила. Он ей отвечал, но почти еле слышно, врасстяжку, и оставался стоять как вкопанный, где они расстались. И мог долго там торчать, все ждал чего-то, будто там еще что-нибудь должно произойти, невесть что, а потом возвращался к себе наконец, вроде как нехотя.

Барб еще долго говорила в том же духе о Прокуроре, о Лизии Верарен. Вокруг нас сгустился вечер, подавали голоса животные в хлеву, хлопали ставни. Я представлял себе Прокурора, шагающего по аллеям парка к берегу Герланты, глядящего на окна домика, где жила учительница. В том, что мужчина, уже приближавшийся к смерти, угодил в силки любви, не было ничего нового. Это старо как мир! В подобных случаях все условности летят к чертям. Нелепость существует только для других, для тех, кто никогда ничего не понимает. Даже Дестина со своим холодным, как мрамор, лицом и ледяными руками мог попасть в западню красоты и бьющегося сердца. В сущности, это делало его человеческим, просто человеческим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.